

НОННА СЛЕПАКОВА

*Лилые люпины,
или Дым без огня*



ПАЛЬМИРА
RUGRAM

УДК 82-31
ББК 84(2Рос-Рус)6
С47

Слепакова Н.

С47 Лиловые люпины, или Дым без огня : [роман] /
Нонна Слепакова. — СПб. ; М. : «RUGRAM_Пальми-
ра», 2021. — 419 с. — (Серия «Разум и чувства»).

ISBN 978-5-517-02880-8

Автобиографический роман поэта и прозаика Нонны Сле-
паковой (1936–1998), в котором показана одна неделя из жизни
ленинградской школьницы в 1953 году.

УДК 82-31
ББК 84(2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-517-02880-8

© Слепакова Н. М., наследники, 2021
© Оформление.
АО «Т8 Издательские Технологии», 2021

Повествование (с оглядками, заглядками, стихами,
рассказами, песнями, видениями, письмами к МОЕМУ
и МОЕЙ, зато почти без слов «огонь» и «вода»)

А почему?.. А потому!
А потому, что жизнь такая!
(Из стихов Ники Плешковой)

Часть первая ОНИ ВСЕ

Утро мамзели

Наступило воскресенье, «день веселья», как говорили в девятом-первом. В то время классы различались не по буквам, как нынче, — 9-а, 9-б, 9-в и т.д., — а по цифрам: 9-I, 9-II, 9-III, 9-IV. Я последовательно училась в первом-первом, втором-первом... шестом-первом, а теперь — в девятом-первом.

Но сегодня в школу не надо, и я до вечера решала, хорошо это или плохо. Так и не решила.

Неплохо проснуться самой по себе, без будничного, ответственного за меня, бабушкиного распева: «Ни-ка, вста-вай! Ни-ка, в школу! Ни-ка, черт пар-ши-вый! О-поз-да-ешь!» Сегодня опаздывать некуда, не нужно опрометью нестись по раннему морозу, поеживаясь и присобираясь от холода, как на резинках, — это тоже меня радовало. Опоздание всегда было самым страшным страхом нашей семьи, особенно три года назад, когда отец еще работал и ездил на Правый Берег к восьми утра — два часа на двух автобусах отсюда, с Петроградской.

А сейчас не просыпалась пока даже бабушка, называвшая себя нашим «бесплатным петухом». Как будто бывают платные.

Филенки закрытой двери в родительскую спальню глядели прямо на мою кровать, словно четыре разновеликих прямоугольных

глаза, правда как бы слипшихся и незрячих от многократных покрасок, с длинными щетининами от кистей, навеки влипшими в дверь и синевато ребрившимися сквозь вконец ожелтевшую «слоновку».

Я соскочила со своей уже взрослой узкой «девичьей» кровати и босиком добежала до отрывного календаря, что висел у самой этой полуослепшей двери.

Они все запрещали мне бегать босиком. Сперва потому, что я могла простудиться, а теперь и не только потому. Они все повели отчаянную борьбу с беганьем босиком, едва заметили, что я люблю болеть, пропуская школу и оправданно, безнаказанно нарушая их и свою жизнь, а главное, их отношение ко мне: во время моих болезней им всем, хочешь не хочешь, приходилось смягчаться. А еще бегать босиком запрещалось потому, что к моим рано ороговевшим подошвам, до того твердым, что я иногда писала на них своей шариковой ручкой, единственной в 9-І, отлично приставала и наша красно-рыжая мастика, и когда я возвращалась в постель, пачкала белье, а ведь не я его стирала, — оглобля вымахала, простыни за собой ни разу не выстирала. Вот они все и следили зорко, в тапках ли я, чтобы обезопасить белье и л и ш и т ь меня болезней, так как меня воспитывали системой л и ш е н и й всего, что только могло мне нравиться, и даже того, что едва успевало понравиться. На этот счет они все куда наблюдательнее и шустрее меня.

Л и ш а л и меня моих дней рождения, новогодних елок, семейных развлечений, денег на школьные культпоходы и физкультурную форму. Попробуй признайся перед классом, что родители не дали тебе денег, когда все они, поджимая губы, с сознанием исполненного приятного долга сдают их старосте Вале Изотовой и она крупным самодовольным почерком отличницы записывает фамилии и суммы!

Если же я имела неосторожность восторженно описать какую-нибудь безделушку, виденную у подруг, при этом, конечно, отнюдь не прося о ней в полном понимании свой недостойности, я могла быть уверена, что мои безнадежные претензии разгаданы и этой вещички мне не видать. Такие у них у всех становились запертые и торжествующие лица в эти минуты: знаем-знаем, на что ты раз-ехалась, да ведь нас не примешь!

Надо признаться, что л и ш а т ь меня было за что. Уже несколько лет училась я скверно, особенно по математике, физике и химии, домашних обязанностей не выполняла, им всем постоянно

«отвечала», а порою и дралась. Наши скандалы разбрызгивались, как раскаленное масло со сковородки, по дому, и в нем меня звали «позор лестничной клетки». Ко всему я писала рассказы и стихи и невеста что о себе воображала, почему с меня и спрашивали особо. Будь я от рождения неспособной, как двоечницы Верка Жижикова и Клавка Блинова, или отпетой хулиганкой и второгодницей из неинтеллигентной семьи, вроде Галки Повторёнок, мне жилось бы легче. А я время от времени вдруг да удивляла всех непонятной пятачкой по алгебре — значит, дело заключалось в моей лени и распущенности, которые и выкорчевывались л и ш е н и я м и. То, что я попросту терпеть не могла точных наук, никого не интересовало: будучи неточной, неряшливой и ленивой, их-то как раз я и должна была любить во что бы то ни стало.

Я оторвала вчерашний календарный листок — 28 февраля 1953, суббота — и уложила в ящик буфета, где уже припухла порядочная стопка прошедших дней этого года на мнуткой, изжелта-серой газетной бумаге. Отрывание этих листков стало единственной домашней обязанностью, которую я выполняла с удовольствием. Казалось, чем больше я их оторву, тем скорее что-то изменится: я ли проснусь где-нибудь не здесь, он ли, родной мой дом, сгинет куда-нибудь в тартарары...

Когда произойдет и то и другое, я буду жалеть и этот дом, и эти дни на опильчатой бумаге, но до этого много укапает МОЕЙ в осклизлую коммунальную раковину, много уйдет в трубу печного МОЕГО, и еще тысячи махов от стенки до стенки футляра проделает бронзовый, обвитый томными маками маятник дедовых стенных часов, пока не будет остановлен мною навечно на половине третьего, часе смерти матери, которая уйдет последней из них из всех.

Тогда же, когда эти часы висели над календарем с объявившимся новым листком 1 марта 1953 года, воскресенье, я, как всегда, злилась на их осмотрительно равномерное пощелкивание, торопя их к чьему-нибудь телефонному звонку, приходу, к любому событию — и небытию, в далеком результате, моему в этом доме.

Я вернулась в кровать, с абсолютной наглостью наплевав на порыжевшие от мастики свои ступни, и из постели неприязненно и в то же время не без некоторой гордости разглядывала комнату, столовую для всей семьи и спальню для нас с бабушкой. Впрочем, в родительской спальне стоял мой простенький черный письменный стол, так что обмен мог считаться вполне законным: их

спальня служила мне «кабинетом». Кровать же моя выселилась от них в столовую к бабушке, как только мне стукнуло шестнадцать, в ноябре прошлого, 1952 года.

Столовая была уставлена не пышной, но напыщенной на величественность, громоздкой и многобашенной древтрестовской мебелью. Это все, счастливо сохранившееся с довоенных времен, они все важно именовали «обстановкой». «Обстановки» у большинства моих одноклассниц не имелось.

Их комнаты со следами послевоенного «абыкакства» в основном обставлялись хлипким барахлом, сбитым из фанеры, окрашенной бейцем, вроде моего письменного стола, а то и просто составленным из ящиков и прикрытым вязаными кружевными накидками.

Часы хлестко, точно железным прутком о железный противень, ударили десять. Бабушка зашевелилась и заохала на своей кровати, неуклюже приткнутой спинкой к боку буфета. По скрипу пружин я поняла, что она перевернулась на свой огромный живот и качнулась на нем туда-сюда (я все боялась, она когда-нибудь его раздавит). Потом она вжала крупное, трехстворчатое из-за толстых обвисших щек лицо между прутьями кровати спинки, густо покрытыми казарменной практичной темно-зеленой краской. Оттуда она долгим ревизующим взглядом освидетельствовала мою кровать.

— Проснулся, облом? — спела она на свой другой, неторопливый, воскресно-воспитательный мотив. — Иди чайник ставь. Уже проснулись, сейчас выйдут. Слышишь, рупь-двадцать, рупь-двадцать. Это было редкое и ценное мгновение в наших с бабушкой отношениях.

В ее враждебном «сейчас выйдут», в ядовито-наблюдательном «рупь-двадцать» (она разумела раздавленные в спальне шаги отца, приволакивавшего ногу после болезни) таилось словно некое сообщничество со мной. Обе мы, ночующие в столовой существа низшего сорта, ущемленные — одна вследствие своего дурного нрава, а другая вследствие «иждивенчества», — как бы уравнивались этим ее тоном вечно обиженной и осуждающей прислуги, которую она неуклонно разыгрывала перед отцом и матерью. И хотя я знала, что меня выселили к бабушке, чтобы по ночам я была под ее надзором, и что она, едва выйдут родители, предаст меня и покажет, что она все же не моего поля ягода, я, продлевая миг, помедлила, пока она не спела с деланной командирской грозностью:

— Десять раз тебе повторять, халда?

Я повиновалась: бесполезно огрызаться «пускать сами ставят» сегодня, когда мне целый день придется быть у них на глазах. Может, и плохо, что сегодня не в школу. Я вышла на кухню. Ее углы отсырели после зимней изморози. Кухню у нас не топили: кому это надо тратить свои дрова на коммунальное помещение! Обмахнув лицо ледяной МОЕЙ, чтобы оно мокро блестело и доказывало, что умывалась, я наполнила над той же глубокой, ржаво-голубенькой, в косых черных отколах раковины громадный медный чайник и с усилием бухнула его на керосинку, которую зажгла, привычно вдохнув из ее трубы усталого вчерашнего керосинового перегара.

Соседей на кухне не оказалось, но, возвращаясь в комнаты, я встретила в коридоре мать и отца, шедших умываться, и прижалась к стене, пропуская их, ступавших с тяжким, властным, хозяйским раздражением. Они сделали вид, что не замечают меня; я с удовольствием не поздоровалась и поспешила обратно, где небрежно набросила на постель розовое, опять-таки «девичье» покрывало и улеглась поверх него сызнова.

Вернулись родители. Вытянутое нервное лицо матери, иссушенное постоянным недовольством до едкой, страстной праведности, пуще обострилось, когда она увидела меня лежащей на покрывале. Видимо, решив нынче меня не замечать, она все же сорвалась:

— А э т а, — спросила она у бабушки, — эта мамзель, как следует предположить, считает, что залезать можно все: и двойки, и дырявые чулки, и воротничок неподшитый, и, если откровенно, свою неискоренимую порочность? Видите ли, валяется на розовом покрывальце и утопает в мечтах — о прекрасных принцах, естественно... Ей мало, что я стираю и глажу все ее замурзанное белье, так еще, понимаете ли, не свое покрывало замусоливает? Она его покупала, она его стирает?

— Мама, я же еще в школе. Что я могу купить? — бессмысленно напомнила я, хорошо зная ответ.

Мать ответила в третьем лице:

— Ну, между нами, это удача, что она ничего не может купить. Ей бы, вообразите, еще и деньги в руки! Но я попробую выразить то, что имею в виду, повразумительнее, для нее лично. Если она будет хорошо учиться, не грубить, мыть полы, убирать хотя бы за собой, ТО ВСЕ, ЧТО МЫ ДЛЯ НЕЕ ПОКУПАЕМ, ОНА СМОЖЕТ ИСКУПИТЬ.

Стеклянная вилка

Мать употребляла бранные слова редко, только в самых отчаянных случаях. Обычно она действовала убийственными светскими оборотами, игрой слов, склонность к которой я от нее унаследовала. Но у нее была небрезгливая помощница, все за нее договаривавшая до конца. Она уже давно мягко пастала в своих бесформенных шлепанцах, внося из кухни кашу в зеленой кастрюльке и яйца в алюминиевой миске, доставая то посуду из буфета, то масло из морозного междурамья, где возле масленки вечно валялись противные сухие палочки осыпавшейся оконной замазки.

— Обломов пакостный — неряха — лень-матушка раньше меня родилась — урод мокшанский — хабалка — дармоедка! — одним духом, в ускоренном опереточном темпе спела бабушка свой воскресный изменнический набор.

— Дура старая, — огрызнулась я.

— От молодой слышу! — привычной звонкой трелью откликнулась бабушка, по всей видимости даже довольная, что я участвую в дуэте. Но мать сочла необходимым внести в привычную и даже веселую перебранку трагическую ноту.

— Мама, простите меня, — надрывно выговорила она и, упиваясь находкой, продолжала: — Простите меня, это моя вина, это я родила вам внучку, которая беспрестанно вас оскорбляет.

Родители сели за стол, я тоже.

— А завтракать тем, что приготовила старая дура, она, представьте себе, не стесняется!..

— Отстаньте вы все от меня!

Странно: отец до сих пор не вмешивался, старался быть по-мужски безучастным, как раньше, до болезни. Но теперь это ему плохо удавалось. Его правый, суженный парезом глаз подергивался, пытаясь, наверное, как следует открыться, в то время как левый, нормальный, неотступно наблюдал меня, ловко перехватывая мое каждое движение.

Три года назад отца разбил паралич. У него отнялись тогда правая рука и правая нога и сузился правый глаз. А главное, он потерял речь. Он лежал в те дни в их огромной двухспальной кровати со множеством никелированных шариков и шаров, стоек и перемычек, весело и криво отражавших всю спальню, и не мог сказать ни слова. Мать, ставя ему мерзких толстых пиявок, всовывала в его левую руку карандаш и подставляла картонку, чтобы он хоть написал, что с ним проис-